

– А на той неделе что за баба была? – спрашивает молодой на койке слева, Байкеев. – Ну, врачиха? – И для верности показывает руками силуэт «врачихи» – рисует ладонями крупные сходящиеся и расходящиеся волны.

– Так та в отпуск ушла, – откликаются койка справа, – она до-олго у нас была, тебя-то в пятницу перевели, а мы уж по неделе чалимся.

Новый врач – Анастасия Васильевна, Настя, – кафедральный сотрудник. У неё силуэт не очень убедительный, достаточно обозначить ладонями две параллельные линии на небольшом расстоянии. Говорит складно и ловко, как по книге, но тихо. Улыбается редко и уж больно худа – щупленькая и голенастая, как птенец. На затылке хвост застегнут пластмассовой заколкой. Зовут её в палате за глаза, конечно, Настенькой и уверены, что она только из студенток вышла. Первый раз вообще приняли за санитарку. «Дочка, мне бы утку принести...» Она покраснела, замялась на минуту, потом уже представилась по всей форме: «Я ваш новый доктор». И до сих пор Настя краснеет, стоит только дверь в палату открыта, она вообще легко краснеет и притворяться умеет плохо – все на лице написано. А мужики не унимаются: «Вы на практике? Помощница?» Смеются, шуточки отпускают. Настя их от беспомощности строжит, старается разговаривать коротко, сухо, сыплет научными терминами. Получается плохо.

Зато лечить получается хорошо. На самом деле Насте уже тридцать пять и она далеко не студентка – десять лет стажа. За это время чего

только не навидалась и тут, в кардиологии, и вообще. Родила дочь, с мужем развелась. Прожили вместе пять лет зачем-то, по инерции. Зато Марусе уже три года. Настина мама срочно вышла на пенсию, сидеть с внучкой, чтобы дочь могла защититься на местной кафедре и спокойно работать. Зарабатывать. Надо добывать, пахать и кормить семью. У Насти ставка в отделении, ставка на кафедре, частный центр по субботам. Несмотря на то что выглядит Настя как восьмиклассница, её выносливости может позавидовать любая лошадь. А мужики в десятой палате никак не начнут принимать её всерьез!

Палата по коридору как раз последняя, дальше только санитарская, судномойка и душ, а напротив – служебный туалет. С тех пор как палату приняла, Настя в туалет почти не ходит. Дверь в десятой постоянно открыта, и каждый из четырех внимательно следит, как она копается тугим ключом в скважине. Иногда здороваются или, того хуже, выходят спросить что-нибудь. Мнутя в тесном тут коридорчике, будто дожидаются нарочно, когда откроется дверь и обнажится бежевое кафельное нутро служебной кабинки, рулон мягкой двухслойной бумаги, которую покупают вскладчину, и махровое полотенчику у раковины, с такой домашней, даже интимной, петелькой для крючка. Словом, зрелище совершенно не для посторонних. Настя вообще не из тех, кто и в знакомой компании открыто заявляет о своих физиологических потребностях, а уж с абсолютно чужими, с пациентами – тем более. Настя уверена, что с ними надо держать дистанцию, никаких шуток и улыбок, никакой фамильярности, никаких вопросов: «А вы замужем, Анастасия Васильевна?» Это совершенно лишнее.

Две её женские палаты у самого входа в отделение. И с женщинами вообще Насте спокойнее и проще. Они её зовут «дочкой», подкармливают частенько то яблочком, то апельсином, то шоколадкой. Пихают в карманы. Неудобно, конечно, но не драться же с ними? А с мужиками у Насти и здесь, и в жизни вечно одно расстройство. Этот «заезд» особенно. Первый принятый Настей из реанимации в эту палату сразу умер. Ночью в её же дежурство захрипел, потерял сознание, неуспешная реанимация. Разрыв миокарда. Дальше перевели – тоже с обширным инфарктом – Павленко, сгрузили к окошку на левую койку. Пеструхин и Великанов достались от предыдущего врача. В пятницу во второй половине дня, перед самыми выходными, положили Байкеева сорока трех лет, с тяжелым сосудистым поражением, после клинической смерти, из реанимации перевели. Полный комплект.

Дед Павленко у окна, или, как он говорит, «Павленка» – носит очки на широкой белой резинке. Она завязана грязными узелками вокруг расшатанных пластмассовых дужек. Снятые и брошенные на кровать, очки напоминают большое расплющенное насекомое с разбехавшимися лапами. Такая же, как на очках, белая резинка выглядывает спереди из его растянутых и выцветших черных трико. Она настолько старая, что составляющие её каркас тонкие эластичные нити размахрились, и края пошли оборкой. Взгляд у Павленки дикий, вытаращенный. Редкие волосы на голове всегда в беспорядке. Казенного вида тапки на два размера велики. Майка, наоборот, маловата. Дед постоянно поет, читает стихи, пишет что-то на больших белых листах. Говорит много и бурно без существенных, продолжая понятную только ему мысль. Когда у него болит сердце – обижается на всех и ложится, отвернувшись к стене. В хорошем настроении много звонит по телефону и так же громко и бессвязно объясняет что-то разным собеседникам. Телефон у него огромный,

допотопный, размерами и формой напоминающий мыльницу, обернут мутным полиэтиленом и заклеен скотчем. Павленка – член какой-то то ли секты, то ли общины, о чем со слезами на глазах Насте сообщила его дочь. Она приходит всегда тайно, с дедом они не разговаривают, в ссоре. Дочь подкладывает в холодильник в коридоре свежие продукты. Надписывает пакет, чтобы не перепутал. Забирает оттуда же пустые судки. Находит Настю и плачет. Дочь в таких же, как у папы очках, только с целыми дужками и тоже вытарашенная. В розовой кофточке с рюшами, с крашеными кудрями на макушке, примятыми жесткой норковой шляпой. Слезы её, чувствовала Настя, все-таки связаны с тяжелой болезнью папы, а не с тем, что все свое имущество – дом и квартиру покойной жены – он, видимо, сдал в секту. В деловые разговоры он не вступает, злится. «Захомутали! – всхлипывает дочь. – Целыми днями поет с ними, дом забросил, да и, видно, на них переписал уже... Как мама умерла... А скажите, доктор, надежда-то есть у нас? Очень плохо?» С моления Павленку и привезли, он там сознание потерял в духоте.

– В первом автопарке я бы ни за какие коврижки работать не стал, блин, – горячится с утра Великанов. – У нас и кормежка, и обслуживание. Если, к примеру, ты на маршруте поломался – все. Сиди, кури, жди, когда приедут. Запчасти обеспечат. А в первом, слышь, самим, блин, приходится. И работают там кто? Слышь – чурки одни...

– Да ладно, – задорит его Байкеев, – у тебя социальный автобус, пенсионеры, и ездите вы медленно, чему там ломаться-то?

– А куда торопиться, блин, куда гнать? Машины все, конечно, бэушные, но добротные, немецкие.

– А ты на каком работаешь? – подключается Павленка.

– На сто шестнадцатом, от Дола езжу до машзавода. Разворачиваюсь и обратно...

– О! – радуется Байкеев. – Так мы там, у завода, на лед заходим! Там тропа всегда есть. И ехать быстро с этой стороны, от центра, сразу через мост и налево. Там ещё парковаться удобно у автосервиса, где конечная маршруток.

– Эти, маршрутисты, блин! Накануне как раз выруливаю первый круг, и тут этот, блин, особо резвый...

– Туда бы сейчас, на лед, на реку, – Байкеев мечтательно поворачивается к окну. С шестого этажа видны только утыканные антеннами белые крыши, кусочек городского парка с сонными липами, зеленый жестяной скат и шпиль угловой башни кремля. За ними вниз под гору, начинается набережная и Река.

– Куда?

– Мы, бывало, выйдем, затемно, конечно...

Раньше уезжали за сто, за двести километров, на водохранилище или на залив большой компанией. Покойный тесть был сумасшедший рыбак и заразил, ни одного выходного не пропускали. Сначала на «Жигулях» его, потом сам «Ниву» купил. «Хонду». Теперь на «Тойоте». Только далеко не получается. Времени до обеда – только до места добрел, лунок насверлил – а ехать уже надо. Жена Людмила у Байкеева сильно пила и жила отдельно. На нем осталась дочь Аня десяти и сын Витя – пяти лет. В молодости Люда была веселая и яркая. Чернобровая, высокая, фигуристая. Одевалась нарядно, сама шила. Никакой косметики ей не надо было – брови, ресницы, волос целая копна – все своё, натуральное. Любила гостей, застолья, песни. Гости часто принимали – раз в неделю звали кого-то. Детей долго не было, и Людмила просто вела дом, работа-

ла, угощала и угощалась сама. Совсем круто пить стала уже после Вити. Появились подружки странные, приходили с утра с пивом или слегка навеселе. В субботу с неизменной бутылкой шампанского. Сам Байкеев в будние дни с работы приходил поздно, а в субботу всегда уезжал на рыбалку. Тот год, когда жена окончательно спилась, фирма Байкеева получила большой контракт, просто из сил выбивались – оснащали кондиционерами огромный торговый центр, заново построенный. Одни нервы. Бывало, что и за полночь он с объекта возвращался, валился сразу в постель. Каждый день Людмила была пьяна и в компании. «У нас гости!» При его появлении эти «гости» на неверных ногах расплозились по домам. Посуда валялась в раковине невытая, грязное белье кучей на полу у стиральной машины. Анюта с Витей ложились сами, еду уносили в комнату. Орал телевизор. Людмила вскоре уволилась, чтоб не уволили за прогулы. Лечиться не хотела. Раз пять он ей вызывал трезвилку по объявлению. Сколько раз сам выхаживал – не сосчитать.

У Байкеева с детства в голове был простой, но верный план устройства. Жена – красавица. Дети. Сына – папина надежда, и дочь – чтоб на жену похожа. Чтобы дом – полная чаша. Холодильник там, телевизор. Шашлыки с друзьями на природе. Баня. Летом – на море всей семьей. Когда красивая статная Людмила превратилась в пьяную опухшую бабу, неряшливую и сутулую, кухня заросла грязью, а нормальные друзья в дом ходить перестали, Байкеев сначала растерялся и обиделся. Все будто вокруг разрушилось, расшаталось. Давняя мечта обернулась обратной своей стороной, будто в насмешку. За что? Ребятишкам за что? Обижался Байкеев недолго, а в очередной запой, выпроваживая после трудного рабочего дня жениных собутыльников, он впал в ярость и выгнал всех, вместе с Людмилой. Она с удовольствием поселилась в бывшей родительской однокомнатной квартире на Заречке. Звонила редко, только если он забывал перечислить деньги на карточку. Тут она выныривала из ниоткуда, могла и приехать. Дети её побаивались, Байкеев им был и отец, и мать, и нянька. На рыбалку его отпускала теща, сидела она с детьми и сейчас, но была недовольна – пришлось взять административный отпуск.

– Сядем в машину, по первой дернем. Сперва, конечно, чай, бутерброды там, хлеб. У кого чего. Я кофе беру, у меня термос большой двухлитровый.

За руль обычно сажали не берущего в рот ни грамма Толю Чижова, главного кореша, ещё с политеха, и многодетного отца трех дочерей. Он не пил категорически и, самое главное, не завидовал. Редко, когда он не мог вырваться, тогда Байкеев вел сам, а «отогревался» уже дома, после руля.

Утро вторника не задалось. Маруся забыла куклу и долго редела в садике, не хотела раздеваться, не отпускала. Настя опоздала на утреннюю конференцию, и начмед стыдила её при всех, как студентку. Половина выписной справки в компьютере пропала, потому что Настя забыла вовремя сохранить. В довершение всех бед пришел сын умершего на той неделе пациента. Полный бледный мужчина лет пятидесяти, с растрепанными, давно не стриженными сивыми волосами, блеклыми глазами навывкате. Он мялся, нервничал, три раза назвал ее Анастасией Семенной вместо Васильевны, хотя Настя его три раза спокойно и доброжелательно поправила. Он тер одной рукой другую, теребил и разглаживал уже изрядно помятый на животе синтетический свитер, переступал ногами.

– Я бы хотел, э-э-э... сходить в палату, где ну... где умер отец.

– Не знаю, удобно ли, там все-таки другие больные лежат, – сомневалась Настя, – и на той кровати тоже. Все с инфарктами, тяжелые. Приятно ли им будет? Они же лечатся.

Умирали в отделении не так чтобы ежедневно, но часто. И правило негласное существовало – вновь прибывшим не сообщать, на какую койку они легли. Зачем? Всякие бывали случаи на Настиной памяти, когда новенькие вообще отказывались лежать, домой убежали, когда им хуже становилось. Некоторые скандалили, требовали в другую палату перевести. Эти дополнительные трудности никому не были нужны.

– Понимаете, – сын, на минуту остановившись, принялся снова наматывать свитер на пальцы рук, выкручивая их то вправо, то влево, – мы десять лет не виделись. Я в другом городе давно живу, мы переехали. Я, э-э-э, работаю там. И мы, и мы... В общем, мы встретились, а у него инфаркт. Его сюда. В реанимацию не пускают, а тут и... то есть к вам наверх перевезли, а ночью – звонок, – он отдышался и приготовился рассказывать дальше.

Дальше Настя знала. Больной с самого начала был так тяжел, что и те трое суток, что он прожил в реанимации, были чудом.

– Пойдемте со мной, – сказала она, – ненадолго. Койка слева перед дверью. Только давайте не будем волновать больных. Я прошу...

В палате смеялись, громко, дружно, на все голоса. Крякал и присвистывал Павленка, ему вторил близко у двери Пеструхин, рядом с ним глубоко бухал, закашлявшись, Великанов – три дня как бросил курить. Басил Байкеев. Сын покойного остановился как вкопанный, посмотрел на Настю с удивлением – куда привела? Настя же сама была не рада, что уступила. Вечная эта её манера – не перечить. Она прислушалась.

– Это ладно, а вот у нас как-то...

– Нет, подожди, это ты заливаешь – пятнадцать килограмм! Ты её что, на канате тащил?

– Сейчас скажет, что это у неё только хвост пятнадцать!

– И глаза, глаза... Во-от такие! – снова заржали.

Настя толкнула дверь, и они вошли. Мужики сидели вчетвером на кроватях у окна. Они мгновенно прыснули на свои места, замолчали и дружно уставились на посетителей. «Как дети», – подумала Настя. Также ребята в группе затихали и поворачивали головы, стоило только открыть дверь кому-нибудь из родителей. С высоты взрослого роста видны только удивленные глаза – голубые, серые, карие. Сын покойного впился взглядом в левую койку, скручивая свитер в жгут и пытаясь запихать его под брючный ремень. Закашлялся Великанов. Вскочил и отошел к тумбочке Байкеев. Догадался. Настя замялась у двери, чувствуя, как загораются щеки, и не зная, что сказать. Тут только что было весело, и весело некстати, совсем не так, как представлялось, наверное, сыну покойного. И не так, как хотелось Насте – соответственно тяжести заболевания и остроте момента – скорбного и напряженного.

Постояли. Настя молча рассматривала стену над койкой.

– Ну всё. Пойдемте. Пойдемте же! – заторопила она сына. Он закивал послушно, хотел было спросить что-то, но передумал.

– Почему они смеются, над чем? – сын еле поспевал за бегущей по коридору Настей.

– Не знаю. Просто говорили о чем-то своем. Ну, не над нами... не над вами же, – поправила Настя, – они смеются!

– Нам в справке написали «инфаркт миокарда», – сын не отставал и явно планировал ещё с ней разговаривать, оглядывался, где бы лучше встать, поэтому теснил Настю к стене у сестринского поста, успевая при этом что-то поправлять и оглаживать в своем костюме. Хотя непохоже было, что он чем-то недоволен или не согласен с диагнозом. Может быть, ему было просто больше не с кем поговорить об умершем внезапно отце?

– Да, мы тоже вашему папе... то есть мы ему то же поставили. У него и был инфаркт, он с ним в реанимацию поступил, с болью, с плохой электрокардиограммой. И сначала он там, на первом этаже, лечился. Получил экстренную помощь. В полном объеме, – на всякий случай Настя постаралась быть официальной, – тромболитическую ему провели, то есть растворили тромб. Болевой синдром купировали. Он был стабилен.

– А у этих? – не слушал сын. – У них тоже, вы сказали, инфаркт?

– Ну-у да. И у них, – вынуждена была согласиться Настя.

– Почему же тогда?

Он просто не хотел уходить. И не мог понять, почему сейчас в палате, где умер его отец – «обширный передний трансмуральный инфаркт миокарда, истинный разрыв сердца», правильный Настин диагноз, – почему им так весело?

– Они что, э-э-э, не могут, ну... так же, как отец?

Конечно, Настя могла бы сейчас объяснить, что у Павленки такой же в точности инфаркт, обширный, опасный. Великанову, несмотря на сделанную в первые сутки операцию, придется уходить на инвалидность – в автобус его уже не посадят. А учитывая, в каком состоянии его почки, плюс тяжелый бронхит курильщика, словом, ничего хорошего. Пеструхин вроде бы лучше, но он от хирургического вмешательства отказался. Дальше – непредсказуемое будущее. А Байкеев вообще ожидает перевода в кардиохирургический центр. Ему надо шунты пришивать, так все плохо. Но нельзя же прийти на обход в палату и с порога заявить – не смейтесь, мол, больше, вы можете умереть в любой момент! Настя вздохнула.

– Если у вас еще есть конкретные вопросы, мы можем пройти в кабинет к заведующему, затребовать историю.

Нет, история ему была не нужна.

– Я просто тут ещё постою немного и пойду. Спасибо вам, Алевтина Васильевна.

– Анастасия...

– Да пойми ты, дед, дело же не в наживке, а в самой мормышке! – горячится Байкеев. Наживка вообще не нужна. А фокус в том, чтобы так ею играть, ну, дергать, чтобы рыба захотела её заглотать. Понял?

– Дурят честного судака, как лоха последнего, – опять рассмеялся Великанов.

– Как же не в наживке, на что ж она пойдет, рыба-то? – удивляется Павленка.

– Так дергать её надо, Михалыч, понимаешь? – Бфйкеев для верности ещё показал рукой как. Это движение было ему знакомо, привычно и явно доставило удовольствие. – И у каждого своя метода, свой секрет. Лунок-то навертеть любой дурак может – ходи да крути, а самый азарт потом начинается. И кто как привык. Я, например, с коленок ловлю, у меня пенка под колени специальная приспособлена. Толик с ящика – сидя. А Мишка ещё у нас, тоже приятель мой, он – на корточках возится.

Ноги только устают. Сначала буром крутишь – руки, а потом так и этак корячишься. Не знаешь, как сесть удобнее. Штаны-то толстенные.

– И как не мерзнете вы? – подает голос Пеструхин. Ему сегодня плоховато было с самого утра. Два раза под язык прыскал, медсестра приходила мерить давление.

– Ну, тут у нас полный порядок. Экипировка – будьте спокойны, какой хочешь мороз выдержит. Это тебе не прошлый век, когда в тулупах сидели. У тестя моего такой был, офицерский. Все плечи к концу рыбалки отмотает, такая тяга.

– Да, – подтверждает Великанов, – сейчас технологии, блин, синтетика. Только летом-то лучше. Мы с дочками, пока они маленькие были, на лодку сядем, бывало, и на простую удочку. Я сам делал. Все, как их, грузила, поплавки, как положено. Поплавки им нравилось чтоб красные, поярче. Червячка, и в воду. Утро, тишина, природа!..

– Да где ж природа – комары одни!

– Нет, подожди, Валер, – не унимается Павленка, – как же без наживки? Это ты мудришь чего-то. Вот у нас в деревне, да. На червя. Самых жирных всегда у навоза копали. И на горох ещё, кашу такую варили густую. На плитке. Это на донку когда. Хлебцем маленько прикормишь её и знай таскай. Колокольчик звенит, а ты таскай! Места только надо знать.

– Нет, Михалыч, не нужен горох никакой!..

Поначалу они были в ссоре. Пока не привезли из реанимации мрачного Байкеева, Павленка в палате разливался соловьем. Читал стихи, вооружившись своими раритетными очками, пел псалмы и хаял правительство, поминая ежеминутно всех предыдущих правителей от Сталина до Ельцина. При них все было у Павленки хорошо – порядок был. Сильная армия. Дешевые продукты. Главное, жена была жива и они бесплатно ездили в санаторий, в Евпаторию. При Горбачеве Павленке особенно радостна была борьба с алкоголиками, за которых всегда горячо вступался завязавший много лет назад Великанов. Пеструхин в дискуссиях не участвовал, спасался наушниками – у него было маленькое радио. Деваться им друг от друга было некуда, гулять по коридору пока запрещено, палата маленькая. Павленка и по палате с трудом передвигается на костылях, отвык, пока в реанимации находился на строгом постельном режиме. Коленные суставы у него сильно деформированы артрозом, большие, бугристые. Из них косо внутрь торчат хилые бледные голени. Он с утра ковылял к раковине умываться и бриться, а потом уже устраивался крепко на койке, раскладывая вокруг свои бумаги, телефон, буклеты с песнями и газеты. Байкеев же в первый день обозначил: «Дед, о политике ни слова, мне волноваться нельзя, понял?» Павленка обиделся и притих. Пару дней дулся и ворчал, но потом помирились. Байкеев деда в самое сердце поразил своими нарядами – белым спортивным костюмом из атласной пижонской ткани и алыми шортами. Олимпийка туговата, молния с трудом сходится на плотном животе, зато в расстегнутом вороте хорошо виден здоровенный золотой крест на толстой цепи. Видно, за эту толщину и тяжесть золота Павленка Валеру Байкеева сильно зауважал. Только все удивлялся, как такой молодой, а уже тут, с ними в одной палате. И при таких средствах на общих основаниях больничный супец хлебает?

На ночь Павленка снимает трико и спит, как есть в «семейках» и майке. Пеструхин педантично переодевается в полосатую пижаму. Великанов – просто в трусах и укрывается только простыней – ему жарко.

А Байкеев надевает для сна темно-синюю футболку со сложной не по-нашему написанной фразой на спине. По утрам, когда Валера в свою очередь бреется у раковины, дед Павленка вооружается очками, при-встает на костылях и пытается эту надпись постичь. Спрашивать пере-вода пока не решается.

Не дай бог заговорить с Павленкой о коленях. Это вызывает реак-цию бурную и непредсказуемую, а главное, его не остановишь потом. Его мечта – операция на суставах, и год назад он наконец-то, со слов дочери, дождался квоты и очереди, сдал анализы и лег в ортопедиче-ский центр на протезирование. Сначала должны были поменять один сустав, а в течение года – второй. Через неделю его выписали – подле-чить сердце. То ли действительно были плохие кардиограммы, Павлен-ка рассказывал, что каждый день снимали, то ли не было подходящих протезов. Но остался он без операции.

– Что, больно? – неосторожно спросила Настя, когда Павленка при осмотре задел непослушной ногой тумбочку и поморщился.

– Позвонят, они сказали, вызовут. Как же! Ищи ветра в поле! А су-ставы мои небось загнали уже за доллары. Дорогие, это, как их, мне сосед по палате говорил – импортные!

– Да что вы, куда загнали, Павленко! Это ж квота!

– Знаем мы квоты ихние, все распродали, разворовали! Взятки толь-ко берут, врачи, называется! Снимали, снимали пленки эти, тьфу, кар-диограммы! Бабенка какая-то приходила, глядела, мордой трясла, рука-ми разводила. Плохие, что ли?

– Это терапевт, наверное, – успела вставить Настя.

– Одна шайка! Ритмия, говорят, и все. Подлечить, ага. А глаза непри-ятные такие, и все шурит. И хирург этот, башка, как у лошади. Один раз зашел только и пальцем ткнул. Даже не посмотрел по-хорошему. Сним-ки велел переделывать, облучили всего, как кролика подопытного. То им легкие надо просветить, то ноги. А сам уж, продал небось налево, ноги-то мои! Тьфу!

– А кардиограммы у вас не сохранились, аритмия какая там была, не помните? Мерцательная? – озабоченно спросила Настя.

– Да я сжег все дома.

– .?!

– Ага, в печке. Ну его. И снимки выбросил, а то они воняют, когда горят. Вся карточку и бумаги – на хрен в огонь! Мы вам позво-оним, – он изобразил, видимо, хирурга с «лошадиной головой», – как же! Я им специально телефон дал со старой квартиры, от жены осталась в народной стройке. Там не живет никто и не плотим. Что? Съели? Пусть поищут теперь Вадим Михалыча, побегают за ним! Что-то не звонят, поганцы, загнали суставы мои и жируют!

– Господи, зачем вы телефон-то неработающий дали! Как они вам дозвонятся?

– А я о чем? Год уж прошел, а никто не чешется...

В любом случае на операцию сейчас Павленке путь заказан. А веро-ятнее всего, вообще заказан. Если он этот инфаркт переживет, непонят-но, как дальше ему.

– Давайте чуть-чуть по палате до окна ходить, хорошо? А то вообще ничего у вас сгибаться не будет. И упражнения, зарядка. Только лежа и сидя – согнули чуть-чуть и разогнули.

– Вот и этот у них тоже – сгибай, говорит. А шарниры мои новые налево...

Рентген назначен и кашляющему Великанову, Пеструхину – капельницу. Кардиограмма плохая, но от операции он, как и раньше, отказывается. Заведующий с утра пораньше позвонил жене, вызвал на беседу. Она обещала подъехать. Настя движется сегодня против часовой стрелки. Следующий на обходе – Байкеев.

– Вставайте и раздевайтесь, мне нужно вас послушать как следует.

Настя красная, как помидор, стоит и покорно ждет, пока огромный Байкеев расстегнет и стянет свою узкую олимпийку, выпутается из рукавов. Бедный, бедный. Такой большой, сильный мужчина и такой несчастный, растерянный, как ребенок. Нет, строго приказывает себе Настя, только не жалеть, не думать – кто он ей? Очередной больной. Точка. Настина макушка находится на уровне байкеевского чудовищного креста. Сердце её бухает, кажется, прямо в багровые щеки. Бух, бух! А его под стетоскопом вторит – бух! Бух-бух! Тонкая мембрана шуршит по густо заросшей широченной груди, под левым соском, как раз на уровне неритмично скачущей верхушки сердца, – старая синяя татуировка: «A (II) Rh (+)». Группа крови распространенная, написанное на груди Настя уже подтвердила в лаборатории. Мускулатура впечатляющая. Ключицы толщиной с её плечевую кость. Аритмия.

– Монитор надо ставить, – вслух говорит Настя, – кардиограмму за сутки смотреть. Поворачивайтесь.

Байкеев замер, почти не дышит.

– Доктор, а может, вы посмотрите эту, мою, как её – коронографию...

– Коронаро.

– Вот. Её! Может, не надо меня резать, а? Может, так? Подлечить ещё. Капельницы, хоть по три в день, а?

Прикосновение Настиных крошечных холодных пальцев внушает ему ужас. Он потеет от страха и неловкости. Большой, несурзанный и неповоротливый, затянутый в белую скользкую материю. Он задерживает дыхание, втягивает, насколько может, круглый, непонятно откуда взявшийся живот. Ждет.

Станный он, этот Байкеев. Сначала выписаться хотел, просился домой. У меня, говорит, дети одни. Оказалось, что он – одинокий отец. Куда жена делась, Настя постеснялась спросить. В тумбочке дешевые сигареты, вчера клялся, что с реанимации ни одной не выкурил. Звонит он только приятелям или по работе. Ругает каких-то техников, прикрывая рукой трубку, прямо на обходе. Потом, правда, всегда извиняется. На слово «родственники» пожимает плечами. Лицо у него мясистое, некрасивое. Нос картошкой, большие щеки, квадратный заросший подбородок, спутанные темно-русые волосы. Крест этот. Глаза смешно и очень близко посажены, зеленые, тоскливые собачьи глаза.

– А, доктор? Ведь сейчас не болит уже ничего?

У Насти глаза серые в коричневую разномастную крапинку, как кукушечье яйцо. Уголок рта чуть испачкан красным – на завтрак ела творог с малиновым вареньем. Ростом она чуть выше дочки Анюты, а в бедрах даже уже. Если бы Байкеев решился, он бы поднял её сейчас под мышки, оторвал от пола, чтобы её пестрые глаза оказались на уровне его. Вблизи она постарше, чем кажется. Качает головой.

– Нет, Байкеев. У вас выхода другого нет. Мы же уже сто раз разговаривали.

Ну да, разговаривали. И заведующий отделением так же говорил. Сказал, что он ещё не самый молодой на такую операцию. «Анастасия Васильевна – опытный врач. Вы не думайте, вы ей верьте». Он верит,

поворачивается, обливаясь потом, усердно дышит, как она велит. Вдох, выдох. По бокам просто течет, неудобно, стыдно. В палате душно, жарят батареи. Мнительный Пеструхин не позволяет открывать окно, только щелку на микропроветривание. Где ж тут не потеть.

– Все, одевайтесь. Перевод ваш мы на понедельник планируем. Место уже дали в кардиоцентре.

К ужасу своему, он видит, как Настя украдкой вытирает кругляш стетоскопа о полу халата. Кошмар! Выхода нет.

– А вот скажи, Валер, – не отстаёт Павленка, как только за Настей закрылась дверь, – и хищную рыбу на такую удочку без наживки? Или её на спиннинг?

Байкеев не отвечает, он улегся на койку, уставился в поток. Руки у него заложены за голову, и раскинутые локти заходят за края матраса с обеих сторон.

– У нас в деревне раньше таких щук ловили, ай-ай! Говорят, прям с лодку размером, с плоскодонку. У нас там речушка Пестырь, вроде узенькая, но глыбкая, с омутами. Там и ловили таких огромных. А потом, как подпрудили речку-то, заболотили все. И не стало их. Зато утки поселились.

– Утка – дело хорошее, – вступает Пеструхин. Он аккуратно расправил простыню, взбил подушку, встряхнул одеяло. Приготовил очки и книгу – сейчас ему принесут капать. – На утку с собакой надо. У меня знаете, моя какая, Вестка? Вымуштрованная, как солдат. В любую воду за уткой кинется. И несёт аккуратно, не прикусывает. Такую помощницу поискать, сколько раз продать просили, свои же, охотники. Я – ни за что! Столько лет учил, столько тренировал. Без собаки на болоте куда? Ну, пальнешь, а дальше? Тут все важно, мелочей нет, тут наука целая. На лету утку добыть – это вам не рыбок из воды дергать. Будешь в тушку целиться, когда она летит, всю дробь зря изведешь. Пока заряд летит, утка тоже на месте не стоит, она вперед чешет что есть сил. Поэтому рассчитать надо – не в тушку целиться, а как будто в воздух впереди неё. Тогда только попадешь. Это, брат, только с опытом приходит. А потом уже собаку запускаешь. Я вот, к примеру...

– Ну так чё, Валер? Щуку-то такую крупную тоже без наживки? – перебивает его Павленка.

«Большая щука невкусная, – грустно думает Байкеев, рассматривая сероватый в трещинах, давно не беленный потолок, – мясо волокнистое, тиной воняет. И сама, видать, помирать собралась, раз такая громадная зверюга на блесну купилась».

– А у нас в деревне в войну вообще любого зверя били, любую птицу. Лишь бы съесть... – не дождавшись ответа, со вздохом продолжает Павленка.

Ночью Байкеев сопит и возится на узкой кровати. Сна нет. Страшно хочется курить. Великанов на расстоянии руки храпит, как черт последний. Всхрюкивает и рычит.

– Андреич, Андреич! Ну повернись ты на бок, что ли, задолбал уже! Великанов вопросительно хрюкает и поворачивается. В груди у него раздуваются и шуршат невидимые меха. На боку он сразу откашливается мокро и смачно, приподнявшись на руке, сплевывает в банку, приготовленную под кроватью. Снова укладывается. На некоторое время все стихают. Павленка перестает бормотать и чесаться, Пеструхин

посвистывать носом. На минутку Валере кажется, что Пеструхин совсем затих. Не дышит? Лежит на спине в своей глупой полосатой пижаме. Ровненько поперек груди закрытый одеялом. Руки вдоль туловища. Обширная кудрявая борода доходит до кармашка пижамной куртки. Кажется, она не двигается. Байкееву он напоминает комический персонаж из киножурналов советской юности – желтая борода, круглая шевелюра, речь такая правильная, и сам весь он как председатель ЖЭКа или профкома. Основательный, но бесполезный – зубы в стакане, туалетная бумага на полочке, мыло в мыльнице.

– Эй, эй! Как там тебя?

Подойти страшно, да и не хочется других будить. Нет, дышит, дышит Пеструхин. И даже как будто рукой шевельнул. Свет уличных фонарей сюда почти не доходит, высоко. Темно, тихо. Все спят. Байкеев тоже засыпает, наконец, и снится ему темная тропа в снегу, Мишкины лохматые серые валенки с калошами и камуфляжные толстые штаны, плотно натянутые на голенища. «Хрум-хрум», – утапывали тропу валенки. Мишка шел первый, тропка была старая, нехоженная, ноги у него изредка проваливались глубоко в снег, и Байкеев старался ставить свои «хаски» сорок шестого размера не в след, а рядом, чтобы сзади идущему Толику было полегче. Толик из них троих всегда был самый хилый и тощий. Быстро уставал. Пока добирались до своего места по льду, пару раз садился отдохнуть, хотя никогда в жизни не курил и не пил вина. В тот день Байкеев чувствовал, что ему, как Толику, надо бы присесть и размотать душащий колючий шарф. Расстегнуть куртку.

Накануне он притащился домой часов в десять, устал как последний пес. Теща по телефону уже шипела и плевалась ядом – в доме еды ни грамма, уроки не учены, унитаз не чищен. Старая песня. Байкеев её давно научился пропускать мимо, но за продуктами в ночной супермаркет заехать пришлось. Плюхнулся на кухне без сил, спасибо, Анютка сразу кинулась разбирать пакеты. Где-то, то ли в спине, между лопатками, то ли в груди по самому центру, как будто положили уголек. Байкеев поел гретых макарон с сосиской, выпил чаю. Теща хоть и бранилась, но ужин свято соблюдала. Внука уложила сытым, внучке проверила русский. Уже у выхода посетовала, что три раза переписывали упражнение. Не было сил встать и запереть за ней дверь, заглянуть, как там Витька – спит уже. Анютка сама вымыла тарелку, сама принесла ему пепельницу, расставила в коридоре обувь, снесенную в кучу волной бабушкиного недовольства. Хорошая жена кому-то будет. Старательная, заботливая. Не похожа она на Людмилу, на него похожа – крепкая, основательная. Серьезная девочка. Анюта присела рядом на краешек стула, прижалась.

«Доченька моя, умница...» – он погладил теплую спину, гладкую аккуратную головку, туго заплетенную косу. С удивлением отметил, что рука дрожит. После сигареты, впервые за день выкуренной в тепле и покое, а не на бегу, и второй чашки крепкого чая стало полегче. Отпустило, и он быстро заснул, радуясь, что очередная гнусная и суматошная неделя закончилась. Завтра была суббота и рыбалка.

В шесть утра в крошечной темноте он старательно топал за Мишкой по занесенной за ночь тропе. Они взяли слишком далеко вправо, к самому мосту. Слишком долго шли, слишком долго разгребали толстый снег и сверлили при бледном свете голубоватой иллюминации монастыря на той стороне Реки. Рыбы не было. Ломило левую руку. Часам к семи посерело, из темноты вдалеке вырос мост. Верхняя его кромка, как гир-

ляндой на крыше, была обозначена вереницей движущихся фар. Начинаясь заречная утренняя пробка. Полвосьмого, ещё в сумерках, вдруг ртутно заблестела стеклянная стена завода на высоком левом берегу. Чуть спустя из-за одинаковых оранжево-белых кубиков микрорайона, глубоко вошедших в Реку на излучине, показалось, наконец, холодное розовое солнце. Отметилось на всех окнах в округе, часам к десяти пожелтело и стало даже пригревать над головой, а к одиннадцати, когда все они втроем уже устали от его нестерпимого снежного блеска, закрылось тучами. Стало ветрено, ещё похолодало. Байкеев к этому времени совершенно уже выбился из сил. Хотелось откинуться назад, улечься прямо на снег. Закрывать глаза. Его как-то знобило, лоб под шапкой был холодный и влажный. Остывший в термосе кофе не лез в горло, предложенная Мишкой традиционная фляжка (он хуже семилетнего коньяка или серьезной «Белой лошади» никогда не наливал) почему-то вызывала тошноту. Курить было больно, дым жег и царапал внутри, кружилась голова. «Грипп, наверное, начинается, ребят бы дома не заразить», — думал Байкеев. Проклятая рыба делась куда-то. Мелочь Толик побросал себе, даже показывать не стал. Коту. Наконец, двинулись обратно. И тут уже Байкеев стал просто помирать. Ноги не шли, ящик казался неподъемной тягой, ремень давил на плечо, и никак было не решить, как его легче повесить. Уголек за грудиной разгорелся и припекал по-настоящему, не давал дышать. «Точно, грипп». На стоянке машин Байкеев неожиданно потерял сознание, грохнувшись лицом в сугроб. Мишка с Толиком, которые ушли далеко вперед и уже складывали шмотки в багажник, сначала даже не увидели, что случилось. Не поняли. Он и сам не понял, очнувшись, подумал, что ужасно глупо так вот споткнуться, и опять отключился. Прилетевшая в считанные минуты «Скорая» привезла его по месту происшествия в дежурную терапию. Там его прямо с колес закатали в реанимацию и в диагностическую операционную, а через несколько часов он уже знал, что у него инфаркт, что сделать сейчас ничего уже нельзя и что в связи с изменениями во всех сосудах сердца надо делать большую серьезную операцию. Позже и не здесь.

Он не поверил, конечно. В первый же день перевода в отделение, вот в этой палате, решил, что жизнь его не кончена, надо бороться. Надо собраться и разозлиться опять как следует, чтобы вернуть покосившийся каркас жизни в прежнее устойчивое положение. «Мужик ты или нет?» — подтвердил по телефону Мишка. Байкеев побрился, надел свежую майку, присланную тещей, и отправился в подвал курить. До лифта он вроде бы дотопал без потерь. Спустился. Курильщики толпились внизу у открытой морозной двери, весело выдыхали дым, галдели. Пустили его поближе к воздуху, «подышать». Байкеев прикурил, пару раз затянулся и опять потерял сознание. Очнулся в коридоре своего этажа на каталке. Рядом шагала маленькая тощенькая барышня в белом халате. Увидев, что он открыл глаза, барышня взялась цыплячьей лапкой за его запястье, густо покраснела и, заикаясь, представилась: «Я в-ваш лечащий врач, Анастасия Васильевна. Курить вам сейчас нельзя...»

Все утро следующего дня Пеструхин пробыл в героях. С пяти утра ему вызывали дежурного врача — снова болело сердце. Кололи и капали. Потом пришла Настя. Потом заведующий один. Потом опять вместе с Настей, и ещё раз с женой Пеструхина — низенькой плотной бабушкой с рябым улыбающимся личиком-репкой. Пеструхины выступали единым фронтом — против операции. Заведующий сердился и пугал. Настя

чуть не плакала от бессилия. «Умрет, умрет ведь!» И слово это, сказанное жене в кабинете, не помогло. В обычный обход Настя пошла перед самым обедом. Пеструхина ещё была в палате, расставляла на тумбочке тарелки с домашней едой, пирожки и хлеб, завернутый в салфетку. Как ни в чем не бывало. Винегрет, куриные котлетки. Настя сердито и молча слушала больных, мерила давление, что-то себе записывала в блокнотик. У Пеструхина сто двадцать на семьдесят, нормальное.

– Как у космонавта, – нервно смеется Пеструхин.

– Нет, – сухо, без улыбки замечает Настя, – *вам* в космос нельзя.

– Страшно в космосе-то лететь, а? В ракете-то там болтаться. А ну как чего? – подхватывает Павленка. Напряженная обстановка его угнетает.

Настя вспомнила, как давно когда-то, в институте, ходила на лекцию-встречу с космонавтом. Фамилия его из памяти стерлась, но кое-какие моменты остались. Он довольно живо и интересно рассказывал о полетах, показывал красивые слайды и фотографии. Потом его спросили именно об этом – не страшно ли ему было? «Ну, вы знаете, мы ведь всегда были заняты делом. Время заполнено, некогда рассуждать». Потом он немного замялся и продолжил: «Если не думать, что тебя от безвоздушной бескрайней черноты отделяет только тоненькая обшивка корабля...»

– Страшно, не страшно, а работу делать надо, – в тему подтвердила Пеструхина, – я на кран пришла работать молоденькой девчонкой, мне девятнадцать лет было. В ученицы. Моя крановщица на верхотуре песни пела, бутерброды ела и вообще себя как на земле вела. А я только вскарабкаюсь, у неё за спиной за спинку сиденья ухвачусь – мамочки родные! Снимите меня отсюда! Мой, хозяин (Пеструхин неодобрительно качает головой – это он), я уж замужем была, говорит, мол, уходи, Татьяна, что, работы другой нет? А мне стыдно, я комсомолка, а на крану работать не могу? Это ж и медведя, вон, мы ходили, в цирке выучили под гармонь поворачиваться, а я не смогу?

– И чего?

– И привыкла! Сорок лет проработала. Все можно перенести, ко всему привыкнуть!

– Что ж вы операцию не хотите делать? – громко спрашивает Настя и сразу краснеет. Байкеев следит за ней сбоку, он знает уже, что она обязательно вспыхнет щеками, что бы ни сказала.

– Операцию нет. Это мы не согласные. Это тебе не кран, не машина. Это в организм шланги засовывать надо.

– Боже мой, какие шланги!? Это катетер тоненький, мы же все объясняли, рассказывали.

– Операцию мы не будем, – Пеструхины тверды. Он уже потирает грудь рукой, пора брызгать под язык лекарство. Жена поглаживает его по плечу. Единодушны.

Целый день ему плохо, душно, больно. Открывали окно. Сестрички закатали в палату баллон с кислородом, Пеструхин периодически дышит через маску. Жена уехала домой, ухаживает за соседом Великанов. Он самый ходячий, кроме того, ему смертельно хочется курить, хоть на стены бросайся. Газеты все перечитаны, разговоры заглохли. Скука. Великанов принес обед, подсадил на подушки повыше, крикнул санитарку. Пока ждали – подал утку сам.

– Да ладно, блин, какие церемонии.

Пеструхин похлебал бульончика, поковырял домашнюю котлетку с винегретом. Ему лучше, отпускает потихоньку.

– А вы... а ты на охоту ездешь? На уток охотишься?

– Ну да. И на уток, и на другую птицу. На зайца. Я же говорю. Собака у меня, Вестка. Вот мою сейчас наругал, хозяйку. Гуляют мало, ленятся. Внучку не заставишь, а ей ходить надо, собаке. Бегать. Утром час и вечером. Мясо я ей всегда на рынке беру. Щеки там или обрезь. Но запарить надо кипятком, а то у неё несварение бывает. Она уж в годах у меня, восемь лет.

– А перья, перья с утки ты куда деваешь? – спрашивает самое интересное Павленка.

– Смотря какая утка. Да и выкидываем. Крылышко есть у хозяйки моей от селезня – пыль вытирать. Зеленое такое с переливами. А так что? Отход – перья.

– Да-а, – осуждающе качает головой Павленка, – ну а готовит кто? Утку-то? Сам?

– Почему сам? – обижается Пеструхин. – Жена готовит. И жарит, и парит. И в морозильник кладем. Бывало, что и гуся дикого добывали, в духовке делала. Вкусно.

– И что, с каждой охоты с уловом? То есть с добычей? – интересуется Байкеев.

– Ну, можно сказать, что и с каждой. Вот один раз, – Пеструхин улыбается своему воспоминанию, потягивается ногами в кровати. Боль совсем отпустила, можно увезти кислородный баллон – мешает разговору, стоит по самой середине палаты, загораживает слушателей. Пеструхин охотничьи байки любит, но рассказывает их не как анекдоты, а обстоятельно, не торопясь. – Один раз, помню, заехали далеко. Машина застряла у нас, один товарищ пошел в поселок лебедку искать...

– А машина-то какая?

– УАЗ старый. Как сейчас говорят – внедорожник. Но сели крепко, по самый борт с одной стороны. Вещи все вытащили, ну и вот. Чего я говорил?

– За лебедкой товарищ пошел, – Байкеев немного оживился – про машины он любил.

– Да. Вещи, значит, вытащили, а я думаю, дай, думаю, пройдусь болотцем. Все же мы за уткой поехали. А осень была, красота – дух захватывает. Там такие перелески, листья желтые, клены и поле, значит, сжатое. А вот так, – Пеструхин показал наглядно, согнув пододеяльник у себя на коленях в один из перелесков, разгладив посередине, – вот и поле, – ближе к животу примял, – а тут, значит, болотце такое и осинки низенькие, молодые. Травища! Ну ни одной птицы. Вестка все обошла, обнюхала – пусто. Ну, думаю, тут сядем, посидим, к машине не хотелось идти, на лужу опять смотреть. Сел, чайк у меня в термосе, на пояс прицеплен. А ружье в руке держу, заряжено на всякий пожарный. Да. О чем это я?

– Сели вы с собакой... – напоминает Байкеев, кивая на мятое «болотце» на пододеяльнике.

– И да. Трава, сноп такой, кочка под деревом. Так-то пожухлая вся вокруг, а под деревом – зеленый ещё куст, осока не осока, бог её знает. А ружье, значит, в руке.

Обстановка нагнеталась, чувствовалось, что развязка близко.

– Ну-ну? – нетерпеливо подгоняет Павленка.

– Я ногой вот так вот траву прижимаю, – Пеструхин прижимает ногой пододеяльник, все замерли, смотрят на «кочку», Великанов встал со своей койки и облокотился о спинку пеструхинской, – а ружье в руке. И тут из-под ноги у меня как выскочит! Скок! Я – раз! Бах его!

Пеструхин прицеливается куда-то в пол и бьет.

– Кого бах-то? – уточняет Байкеев.

– Да заяц, представляете? Здоровенный русачина такой! Он осенью как раз ложится. Крепко лежит. В траве, под кустами, на полянках таких. На него пока не наступишь, не шелохнется. И я его, значит, утиной дробью – бах!

– И все? – разочарованно отходит Великанов.

– Ну, напугал, черт... – Павленка потирает грудь.

– Лес-то сырой, – оправдывается Пеструхин, – а сесть надо было, чайку выпить. Я и решил на кочку на эту.

– Ну а собака, подожди-ка! Собака-то твоя куда глядела? Чего она нюхала?

– Так ты знаешь, заяц какой хитрющий зверь? Он лежит и не дышит, так прячется!

– И не пахнет?

После ужина Пеструхина спустили в реанимацию. На этот раз приступ был тяжелее, чем раньше. Ни капельница, ни уколы не помогали. Кислородная маска его душила, лицо было серое, мокрое, дыхание клокотало, как в чайнике. «Отек легких», – сказал жене по телефону молодой бородатый врач-реаниматолог. Кажется, это он неделю назад принимал Байкеева. Когда суета стихла, пришла санитарка тетя Даша, протерла спинку кровати тряпкой, вещи Пеструхина из тумбочки собрала в пакет, поменяла белье. Перестелила все быстро и ловко, подушку в свежей наволочке поставила в центре уголком, как в пионерском лагере. Кислородный баллон укатили ещё раньше, как будто и не было тут никакой суматохи, никаких уколов и разговоров, и вообще, никакого Пеструхина.

– Так он чего? Того? – испугался Великанов.

– Чего «того»? – грозно обернулась тетя Даша. – Положено перестелить!

– Он что, не вернется сюда, в эту палату? – осторожно уточнил Байкеев.

– Вернется, вернется, – заученно забубнила санитарка, – подлечат его там и привезут. И вещи, если что, вернем, все обратно застелим, разложим...

После её ухода делается совсем тоскливо и темно. Тихо. За закрытой дверью не гроыхают швабрами, не течет вода в туалете, не подвывает служебный лифт. Рабочий день у дневной смены давно закончился, ужин разнесли, пол в коридоре вымыли. У соседей за стенкой бормочет телевизор. Великанов подумывает, не пойти ли туда посмотреть очередную серию про бандитов.

– Ну а ты чего, Андреич, молчишь? Сам-то охотишься? Или как?

– Да я больше по грибы сейчас, знаешь, блин, с корзиной, по лесу. Я не стреляю.

Великанов худой, жилистый, сутулый, с впалым животом. Лицо узкое, скуластое, с крупным носом, зато глаза хорошие – настоящего голубого цвета. К нему ходит симпатичная моложавая женщина в беретке и две такие же голубоглазые девочки-школьницы с одинаковыми косичками. Они садятся на кровать рядышком, прижимаются, каждая со своего бока. Жена аккуратно пристраивается на стуле напротив. Разговаривают они всегда шёпотом, тихонько хихикают. Мать одергивает дочек, если они слишком громко смеются. Перед уходом они все-таки

виснут у него на шее, а жена, коротко обернувшись, целует в запавшую серую щеку. Весь по плечам, спине и груди Великанов разрисован татуировками. В отличие от загадочной надписи на футболке Байкеева эти узоры дед Павленка в первый же день внимательно изучил. Никаких загадок – сидел, резал вены дважды на правой руке, потому что левша. Над ключицей – следы ножевого ранения. Всякое было.

Он тоже помнил свой мокрый осенний лес, ружья, сваленные в углу деревенской избы с низким потолком, рыжую суетливую собаку. Приехали охотиться на кабана. Два дня выпивали с хозяевами избы – семейной парой. Бабенка-хозяйка совсем молодая, но беззубая и пьяная, а мужик её вообще лежал на диване и «мама» сказать не мог. Пол к утру леденел, печь дымила. Пили самогон и ждали кого-то, кто по-настоящему разбирается в кабанах и ответит на место. Великанов на охоту отродясь не ходил, поехал за компанию, причем компания была не близкая, так – знакомые знакомых. Наконец из города прибыл специалист по кабанам в дорогой кожаной куртке – Колпаков В.Н. Привез хорошего чая, сала, шпрот и болгарских сигарет, пообещал, что знает здесь каждую кабанью тропу. В какое-то утро рано, с тяжелыми мутными головами, они растолкали вечно спящего хозяина. Тот откуда-то привел лошадь и подвез их на телеге километра три вглубь леса. Точно было мокро везде – и трава, и большие желтые липовые листья на дороге, с ладонь размером. Притазились куда-то на старую, заросшую тропу, довольно широкую. Сзади было место открытое, вроде поляны, с мелкими молодыми деревцами. Впереди – пригорок и редкая березовая рощица. Место это долго снилось потом Великанову – белые тонкие стволы, низкие кривые елки между ними, белесая жухлая трава по пояс. Надо было стоять тихо и ждать, не сходя с места, пока другая группа – двое мучимых похмельем загонщиков – не спугнет в их сторону кабана. Представлялось, что он будет, вероятно, один. Колпаков В.Н. жестами показал, что надо спрятаться и не разговаривать, держать ружье наготове. Ещё показал что-то руками, непонятное, и исчез за березками. Сколько Великанов там промаялся, он вспомнить не мог. Курить было нельзя, шевелиться тоже. В глазах рябило от листьев, в голове гудело, во рту пересохло. И спать вдруг захотелось смертельно. Когда на пригорке за стволами кто-то громко завозился и захрустел ветками, Великанов радостно вскинулся из полудремы и выстрелил не целясь. Грохнул ещё один выстрел и ещё сбоку. Кажется, их было три или четыре. Стреляли все. Никаких кабанов не было, Колпаков В.Н. был убит наповал выстрелом в грудь. Как выяснилось позже, из ружья Великанова, хотя он, убей бог, не мог вспомнить, которое было его из брошенных в суматохе на траву. Алкашей – хозяев избышки – еще до приезда ментов сдуло как ветром. Возвращались все, включая мертвого Колпакова, на той же телеге, но возница уже был при погонах. Вероятно, лошадь в этих местах была одна на все случаи жизни.

Во время суда Великанов узнал от адвоката, что есть такие слухи. То есть поговаривают, проверяют версию. Словом, подозревают, что Колпакова замочил один из «охотников», как раз нарочно, потому что он много лет утешал колпаковскую жену, а теперь, наконец, получил право утешать её легально в доставшейся от покойника трехкомнатной квартире, в его «Волге» и на кирпичной даче с гаражом и баней. Дальше слухов дело не пошло, неумышленная вина Великанова была полностью доказана, плюс отягчающее состояние опьянения. Великанова отправили в колонию, потом на поселение на семь лет. Все эти годы,

что бы ни происходило, он мечтал найти на воле настоящего убийцу и свернуть ему шею. Боялся только, что плохо его помнит, может не узнать. Вышел, пил и завязывал, ещё раз попал по глупости в то же учреждение на два года. Вышел и очень удачно устроился грузчиком в пекарню, встретил Верочку, женился, родил двух девочек одну за другой. Прошло лет пятнадцать с того дня или больше, все вроде бы забылось, а десять дней назад за рулем обгоняющей по встрече маршрутки он увидел того самого стрелка.

Верхний свет так и не зажгли, неохота было вставать. Павленка включил ночную лампу над своей кроватью, читает что-то, записывает. Диктует себе, шелестит, пищит телефоном. Байкееву из-за спины его не видно, только слышно этот шелест и шёпот. Заснуть бы, что ли. До понедельника ещё четыре дня. Выхода нет.

Усыпят наркозом, распилят грудину, остановят сердце. Потом вырежут вены с ноги и пришьют к сердечным сосудам, чтобы не болело больше. Зашьют и разбудят. Сердце должно сразу заработать. Вот это Байкеев понял из того, что долго и научно рассказывала ему Настя. Говорила она уверенно и складно, но по глазам, которые она старалась спрятать от него, было понятно – что-то знает другое. Может быть, плохое? Страшное? Он потрогал грудину под майкой – твердая. Поводил пальцами, развел в стороны руки, глубоко вздохнул. Где-то там внутри тупо и глухо тянуло. Ну и работка у людей! Какая там, интересно, пила – циркулярная? Байкеев пошевелил ногами. Болеть, наверное, будут, как у деда. Волосы сбреют или сам? А на груди? Он, заволновавшись вдруг, просунул руку под майку и поворошил свою жесткую растительность. Как же резать-то будут, если не сбрить? «Вы ей верьте, Байкеев, она опытный врач». Он и верит, что ещё остается?

– А я вот что помню, – неожиданно громко завел Павленка, задумчиво спустив очки на кончик носа и отложив стопку бумаг, – пацанами ещё мелкими были, так ходили в школу в соседнюю деревню, у нас не было своей. Километров восемь, ну шесть, если напрямик. Бывало, зимой бежим в темноте, душа в пятки уходит! Страшно. Ни фонарей, ничего не было. Это как раз перед войной. Бежим, значит, дорога еле видна, а в лесу, с боков-то, глаза такие блестят и тени. Волки, значит. Мы на дерево – раз! А они снизу ходят. Холодно. Ну, родня наша с работы придет – ага, нет учеников-то, не явились. И за нами с факелами, с ружьями по дороге. Так и снимали нас, разгоняли тварей этих. Часа по два, по три иной раз на дереве-то высидим, все задрогнем, затекет все – руки, ноги, а сидим! Только упади – сожрут!

– А чего так мучились-то, блин, Михалыч? – удивляется Великанов. И сразу хрипит, кашляет и сплевывает.

– К знаниям тянулись? – посмеивается Байкеев. За разговором как-то веселее. До понедельника надо дотянуть.

– Так голодно было, Валер, нас у мамы четверо. А в школе жрать давали. С колхозу бачки привозили с похлебкой и хлебца маленько или сухарей, чтоб не померли. Жрать очень хотелось, Валер, до сих пор помню, а чему учили – убей бог, забыл!

За дверью десятой палаты опять рассмеялись.